

**Лидия Чарская**

**Смелая жизнь**

**Москва  
«Книга по Требованию»**



Лидия Алексеевна Чарская  
СМЕЛАЯ ЖИЗНЬ



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА I

### *Обитатели старого сада*

Большой, старый сад сарапульского городничего Андрея Васильевича Дурова ярко иллюминирован. Разноцветные бумажные фонарики — красные, желтые и зеленые — тянутся пестрыми гирляндами между гигантами деревьями, наполювину обнаженными от листвы беспощадною рукой старухи-осени.

Пылающие площадки, разбросанные там и сям в сухой осенней траве, кажутся грандиозными светляками, дополняя собой красивую картину иллюминации. А над старым садом, непроницаемая и таинственная, неслышно скользит под своим звездным покровом черноокая красавица — осенняя прикамская ночь...

На стенных часах в доме городничего пробило одиннадцать.

И вмиг старый дом дрогнул и оживился. Целая толпа девушек в легких белых платьях, обшитых кружевами, рюшами и блондами, какие в начале XIX века, по тогдашней моде, носили наши прабабушки, высыпала на крыльцо.

— Какая ночь! Чудо! Совсем как летом! — зазвенел звучными переливами молодой голосок, и одна из белых фигурок протянула обнаженные до локтя руки к темному небу и ласковым звездам.

— В такую ночь не грешно и по Каме прокатиться, не правда ли, Клена? — присоединился к первому голосу второй, грудной и низкий, с приятными бархатистыми нотами.

Та, которую звали Кленой, повернула лицо к говорившей. Это была настоящая четырнадцатилетняя красавица. Ни у кого, не только в уездном городе Сарапуле, но и в целой губернии, не было такого снежно-белого личика, таких темно-синих глаз, похожих на два великолепные сапфира, ни золотистых кос того неподражаемого червонного отлива, какими обладала вторая дочь сарапульского городничего, Клеопатра. И четырнадцатилетняя Клена лучше всех сознавала неотразимую прелесть своей необычайной красоты и очень гордилась ею.

— Ну уж ты выдумаешь, Устеня! — произнесла она недовольным голосом. — Что может быть интересного на Каме ночью! Меня, по крайней мере, туда вовсе не тянет.

Действительно, белокурую красавицу Клену не тянет на Каму. Что там хорошего? Холодно, сыро, темно. А в зеленых зарослях еще, чего доброго, водятся русалки. А она — белокурая Клена — больше всего в мире боится сырости и русалок. Она не Надя. Надя другое дело. Та ничего не боится, отчаянная какая-то! Та не только на Каму, на кладбище побежит ночью. Ведь ходила же она прошлой весной смотреть утопленника, выброшенного на берег. А она, Клена, иная. Она — степенная, благовоспитанная барышня, а не «гусарская воспитанница», не «казак-девчонка», как называют все ее старшую сестру.

Да, кстати, где же она? Иллюминация гаснет, гости собираются уходить, а Надежды и след простыл. Хороша именинница! Для нее устроен этот вечер, зажжены фонарики и площадки, приглашены подружки, а она и ухом не ведет. Любезная хозяйка, нечего сказать!..

И хорошенькая Клена с беспокойством оглянулась на белую толпу девушек: так и есть — там нет Нади. Она исчезла.

— Вася, — взволнованно обращается девочка к плотненькому, коренастому мальчугану, резко отделявшемуся своим темным мундирчиком от нарядных светлых платьиц юных гостей, — ты не знаешь, где Надежда?

Одиннадцатилетний Вася, беспечно рассказывавший в это время одной из барышень о том, каких крупных карасей наловил сегодня в их пруду дворецкий Потапыч, сразу замолк и осекся.

Нет он не видел Нади. Где же она? И мальчик стал с беспокойством вглядываться в темную чашу сада, где не горели огни и где было таинственно и жутко.

— Надя! Надежда! Где ты? — зазвенел его детский голосок, уносясь в темноту навстречу быстро надвинувшейся ночи.

— Оставь, Вася! — остановила его Анна Горлина, высокая, черноволосая девушка с надменным выражением лица, дочь богатейшего сарапульского купца. — Или ты не знаешь своей сестры? Разве мы можем доставить ей удовольствие своим обществом? Конечно, нет. Ведь мы не умеем командовать на плацу и махать саблями, как мальчишки. Мы не воспитывались у солдат.

— Да, да, — подхватила толстенькая Устенька Прохорова, — скакать на диком Карабахе, как простые казаки, как Надя, мы тоже не можем. Мы барышни и должны помнить это...

И, жеманно поджимая губки, она повернула спину опешившему мальчугану.

Впрочем, замешательство Васи длилось недолго. Мальчик в одно мгновение понял, что эти глупые, по его мнению, напыщенные девчонки хотели обидеть и унижить его сестру Надю, сестру, которую он, Вася, боготворил и которой поклонялся с самого раннего детства. Вся кровь вспыхнула в жилах оскорбленного мальчика. С пылающим лицом и горящими глазами приблизился он вплотную к черненькой Анне и заговорил, едва удерживаясь от бессильных слез:

— Какая ты гадкая, Анна!.. И ты, Устенька, и все вы злые... злые... нехорошие! За что вы не любите Надю? О, она лучше вас всех, она ни про кого никогда не говорит дурное, ни с кем не ссорится... Никого не бранит... И зачем вы пришли к ней, если она недостойна вашего общества? Гадкие вы, гадкие, нехорошие! Не люблю я вас никого! И уходите от нас, если так! Уходите... если вы так гнушаетесь Надиным обществом!

И прежде чем кто-либо мог удержать или остановить его, Вася в одну минуту сбежал со ступенек крыльца и стрелой помчался по длинной дубовой аллее, освещенной догорающими огнями иллюминации.

Мальчик бежал так быстро, точно все эти нарядные, гордые барышни гнались по его пятам. И только в конце аллеи, там, где на повороте ее стоял крошечный садовый Домик с освещенным окошком, Вася остановился.

— Она там! — произнес он тихонько. — Там моя Надя... милая... дорогая! И как они смели, как смели обижать тебя! Отвратительные, негодные девчонки! И Клена хороша тоже! Хоть бы заступилась за сестру. Противная Клена! Еще, пожалуй, насплетничает маме на Надю. Что тогда будет?

И сердечко Васи замерло от страха за сестру. Он знал, как строго взыскивалось с нее за каждую малейшую провинность. Ни он, ни Клена не несли никогда таких строгих наказаний, какие выпадали на долю ее, Нади...

А сестру Надю этот одиннадцатилетний мальчик с большими серыми глазами,

полными добродушия и тепла, любил больше всего в мире. Прикажи ему, кажется, Надя броситься в пруд, в этот самый пруд, на берегу которого он стоит теперь, — и он без слов исполнит ее желание, без слов и колебаний. Так было и будет всегда, постоянно. А эта ледышка Клена смеется над ним, дразнит его за его безграничную любовь к сестре, к девчонке! Да разве его Надя девчонка, как другие? Разве она слабое существо, нуждающееся в поддержке, в постоянном присмотре старших? О, Надя — это особенная, совсем особенная девочка!

И при этой мысли его неудержимо потянуло увидеть сестру, поделиться с нею его обидой, рассказать ей все, все об осмелившихся смеяться над нею гостях.

— Надя, Надя! Где же ты, наконец! — чуть не с плачем вырвалось из груди ребенка.

Не успел еще последний звук замолкнуть в безмолвии ночи, как кусты прибрежной осоки раздвинулись и белое существо появилось на берегу пруда, совсем близко у воды.

— Кто зовет меня? Ты, Василий? — И Надя ступила в светлую полосу из своей темной засады.

Голос Нади был резок и грубоват немного, как голос подростка-мальчика. Но со своей тонкой и стройной и вместе с тем сильной фигурой, вся окутанная белым облаком блонд и воланов, теперь, в ночном мраке, она казалась таинственной ночной феей этой дубовой аллеи и зеленого прудка. Однако лицо ее — не воздушное, нежное лицо феи. Выплывшая из-за темного облака серебряная луна ярко освещает это смуглое лицо, со следами оспы на нем, с большим ртом и резко очерченными бровями. Единственным украшением этого юного, почти детского лица служат только одни глаза, громадные, темные: то мрачные и тоскливые, то светящиеся юмором, то печалью, то отважные, то робкие, они бывают временами чудо как прекрасны. И эти глаза говорят, говорят так много каждому, кто заглянет в их бездонную, как пропасть, глубину!

Теперь эти великолепные глаза светятся самым неподдельным искрящимся весельем. В глазах — веселье, а в складках рта — что-то трогательно-печальное, почти горькое.

— Они ушли? — слышится ее сильный, не девичий голос, и она кивает в ту сторону, где в эту минуту догорели и погасли последние огни иллюминаций и где разом наступила тишина.

— Ушли, — отвечает почему-то шепотом Вася. — А где ты была, Надя?

Ему хочется рассказать ей все-все без утайки о противных девчонках и его ссоре с ними. Но ему жаль взволновать Надю. Сегодня день ее ангела, и надо, чтобы день этот закончился гладко и беззаботно. И, вместо всякой жалобы, он повторяет:

— Где же ты была, Надя?

— У Алкида, — отвечает ее милый глуховатый голос. — По случаю сегодняшнего праздника Ефим забыл насыпать ему обычную ночную порцию овса. Хорошо, что я поспела вовремя и бедный мой конь не остался голодным. А про гостей я совсем, признаться, и забыла! — неожиданно заключила она и рассмеялась.

Смех у нее был молодой, звонкий, настоящий смех ребенка, которому пока не о чем беспокоиться и заботиться. И этот смех так не вязался с ее юным, но полным не детской задумчивости лицом.

— Ничего! О них позаботилась Клена, — произнес Василий с важностью взрослого человека и вдруг неожиданно добавил, обнимая сестру: — Ах, Надя, я хотел тебя видеть и... и... Как я люблю тебя, если бы ты знала!

— Вот так так! — еще громче рассмеялась она. — С чего это вдруг, разом?

Я не знаю, Надя, — отвечал ничуть не смущенный ее смехом мальчик, — но только я тебя очень, очень люблю, больше папы и мамы, больше этого старого сада... Больше всего, всего в целом мире... Ты такая бесстрашная, смелая, такая отважная, Надя!.. Как же тебя не любить?.. Нет вещи, которой бы ты боялась... Когда ты скачешь на твоём Алкиде, такая бесстрашная и смелая, мне кажется, что ты даже не сестра моя родная, не Надя, а что-то совсем, совсем особенное... Помнишь, ты мне читала о древних амазонках или о той знаменитой французской девушке-крестьянке, которая спасла свою родину от англичан... наверное, они были такие же, как и ты, ничего не боялись, отважные, смелые. Только им не приходилось так много страдать... Ах, Надя, мне так жаль тебя, когда мама бранит тебя!.. Ты никому не говори этого, Надя, а только, поверишь ли, мне тогда хочется плакать, и я начинаю не любить маму и сердиться на нее. И потом, какое у тебя чудное сердце...

— Перестань! — оборвал его глухой голосок, в то время как громадные, великолепные глаза девушки наполнились слезами. — Я не люблю, когда меня хвалят. Ты должен знать это!

— Ты рассердилась, Надя? — испуганно сорвалось с губ мальчика. — Ты недовольна мною?

Но Надя точно и не слышит его вопроса. Она стоит неподвижная и безмолвная, как белая статуя, в серебристой полосе луны. Месяц играет своими короткими лучами на смугленьком личике девушки и ее темно-русой толстой косе, перекинутой через плечо на грудь. Большие, темные глаза, спорящие блеском с золотыми звездами далекого неба, кажутся такими печальными и прекрасными в этот миг...

«Господи! — мысленно произносит смугленькая девочка. — Как он любит меня и как ему будет тяжело, пока он не привыкнет к предстоящей разлуке!..»

И, быстро обернувшись к брату, она произнесла каким-то новым, словно размягченным голосом, полным любви и ласки:

— Что бы ни было, Василий, что бы ни случилось, слышишь, ты не должен осуждать меня!.. Не забывай меня... и люби... люби крепче свою Надю!

Прежде чем он успел опомниться, ответить ей, сказать, что он-то уж никогда ее не забудет и всюду и везде будет стоять горой за нее, она снова скрылась там, откуда появилась, неуловимая и странная, как таинственная фея зеленого пруда.

## ГЛАВА II

*Новая обязанность. — В садовом домике. — Жанна д'Арк*

Марфа Тимофеевна Дурова, супруга сарапульского городничего, еще молодая тридцатилетняя женщина, с прекрасным тонким лицом и холодными серыми глазами, стальной взгляд которых придавал что-то жесткое и надменное общему выражению лица, сидела, облеченная в белый батистовый пудермантель, и убирала на ночь свои еще роскошные и толстые, как у девушки, косы.

Марфа Тимофеевна, по своему обыкновению, мысленно пробежала весь се-

годняшний день и осталась им недовольна.

Не красавица Клена, степенная, уравновешенная, несмотря на юный возраст, и не добродушный толстяк Вася, общий баловень и любимец, тревожили супругу городничего. Дело касалось Нади — этой строптивой, непокорной, полудикой девушки-ребенка, воспитанием которой так долго и тщетно занималась сама Марфа Тимофеевна. Ни увещания, ни строгость, ни наказания не могли изменить своеобразной дикой натуры Нади. Слишком сильные корни пустило в нее военное воспитание ее усатой няньки, денщика-гусара Астахова, выхोдившего ее с первых дней ее раннего детства.

Сегодня вся эта дикость гусарской воспитанницы выступила особенно резко в кругу благовоспитанных сарапульских барышень-гостей. Эта Надя, со своими размашистыми манерами солдатской питомицы, с грубоватым голосом и смело поднятым на всех горящим каким-то мальчишеским задором взглядом, так мало походила на дочь своего отца, принадлежащего к старинной дворянской семье.

— Боже мой! — искренно негодовала Марфа Тимофеевна. — Ведь такая, какова она есть, Надежда никогда не выйдет в люди, никогда не найдет себе подходящей партии... А она уже взрослая барышня, ей стукнуло шестнадцать, пора подумать о будущем...

Тут Марфа Тимофеевна вздрогнула и обернулась. Та, о которой она только что думала, ее злополучная Надя, стояла на пороге комнаты, глядя в упор на мать пристальным, немилосадным взглядом.

— Что тебе? — не совсем любезно произнесла городничиха. — Что ты прокрадываешься, как кошка? Сколько раз я говорила, что надо стучать у дверей, прежде чем осмелиться войти! Этого требует приличие.

Тонкая, еле уловимая усмешка скользнула по полным губам Нади, обнажая ее ослепительно белые, ровные зубы.

«Приличие!» — вот слово, которое она слышит постоянно из уст матери. «Приличие!» — вот чего ей не преодолеть во веки веков!

И тоненькая, статная фигурка, незаметно отделившись от двери, подвинулась к матери.

— Я пришла проститься с вами, маменька, — произнес низкий, глуховатый голосок.

— Давно пора! И где ты пропадала до сих пор? — ворчливо оборвала дочь Марфа Тимофеевна. — Клена передавала мне, что ты не пожелаала даже проводить своих гостей и исчезла куда-то, по обыкновению. Очень мило и любезно со стороны именинницы, виновницы праздника. Нечего сказать! Ах, и когда ты только справишься, Надин! Надо же подумать об этом, дорогая!

«Дорогая»!.. Скучающее выражение мигом исчезло с рябого, смуглого личика девочки... Быстрым, ловким движением, в котором нет уже ничего неженственного и грубого, Надя бросается на колени перед матерью, схватывает ее руки, белые, прозрачные руки с тонкими пальцами, сплошь унизанными перстнями, и лепечет в каком-то безумном восторге, вся разгораясь румянцем и блестя своими темными, яркими глазами:

— «Дорогая»... «дорогая»... «дорогая»!.. О мама! Золотая моя мамочка! Как ты сказала это? О, повтори мне это, мама! Голубушка мама! Скажи еще раз: «Надя, дорогая...» Ведь ты любишь меня? Как Клену и Васю любишь? Скажи мне это! Скажи, скажи, мама, голубушка, милая, родная! Ты должна

сказать!

Смуглое личико придвинулось теперь почти вплотную к прекрасному, словно изваянному из мрамора, лицу матери. Большие, яркие глаза, черные, непроницаемые, как ночь, горят нестерпимо.

Но жена городничего не любит ни этого странного блеска, ни этих быстрых порывов у Нади. В них что-то дикое, необузданное, а Марфа Тимофеевна так далека от всего резкого, грубого, неженственного. Надя — барышня, а первым достоинством барышни должна быть скромность. К тому же огонь этих громадных, обжигающих своим острым взглядом глаз невыразимо ярко: его просто боится Марфа Тимофеевна. В этих глазах упрямство, своеволие и отчаянная решимость. И эти слова: «Ты должна, мама!» — не есть ли это высшая степень непочтительности к старшим, лучшее доказательство упорства и грубости?.. Она слишком хорошо знает Надю, эту непостоянную, взвинченную, капризную натуру, на которую можно только действовать строгостью и взысканием, не иначе. О, эта Надя! Сколько еще с нею предстоит неурядиц и хлопот!

И, слегка высвободившись из цепких, сильных рук дочери, Марфа Тимофеевна взглянула на нее пристальным, холодным взглядом, способным заморозить всякий порыв, и сказала ледяным, сдержанным тоном:

— Полно, Надя! Не глупи! Ты уже не маленькая и должна уметь владеть собою. В твои годы я была уже замужем и вела хозяйство. Пора бы и тебе заняться этим. Я отчасти довольна, что ты зашла ко мне: мне надо было сказать тебе, что с завтрашнего дня я решила дать тебе новую обязанность. Она займет тебя и отвлечет немного от твоих диких скачек на Алкиде, которые хотя и по душе твоему отцу, но не нравятся мне. Завтра же ты примешь ключи от Натальи и будешь заведовать хозяйством. Поняла?

О! Она слишком хорошо поняла это, смугленькая девочка с темной косой, потому что лицо ее разом осунулось, глаза потухли. И никто бы не узнал в ней теперь той Нади, которая всего несколько минут тому назад горела таким неизъяснимым, восторженным порывом.

— Доброй ночи, маменька! — покорно произнесла эта новая Надя и приложила губами к бледным, хрупким пальцам матери, униженным перстнями.

— Доброй ночи, дитя! — произнесла несколько ласковее Марфа Тимофеевна, подкупленная смирением и покорностью дочери. — Завтра ты начнешь свои новые обязанности, а теперь ступай с богом!

И, желая несколько сгладить свою строгость, она притянула к себе темно-русую головку с тяжелой косой — и поцеловала дочь в лоб, на который набежали тонкие, как ниточки, морщинки.

Это был чуть не первый поцелуй, полученный Надей от матери. Он проник в самое сердце чуткой, впечатлительной девушки.

«Завтра! — мысленно произнесла Надя, выходя от матери и направляясь по темной аллее к садовому домику. — Завтра!.. Но не будет этого „завтра“... По крайней мере, не будет здесь. Твой поцелуй, мама, твой первый поцелуй, будет и последним. Чувствуешь ли ты это, дорогая? Чувствуешь ли, что твоя строптивая, злая Надя готовится нанести тебе помимо воли новую неприятность? Ах, мама, мама! Зачем ты не любишь меня, как Клену и Васю? Может быть, тогда мне было бы легче выполнить задуманный план. Тогда, быть может, я пошла бы на мой поступок хотя с разбитым от печали и горя сердцем, но унося светлое

воспоминание о тебе!.. О, мама! Как жаль, что это не случилось!»

С наполненной этим думами головою Надя миновала длинную аллею, ведущую от главного крыльца большого дома прямо к низенькому крылечку садового домика, и, взобравшись по шатким ступенькам, толкнула входную дверь. Миновав темные сени, она очутилась в маленькой горнице, слабо освещенной сальной свечой, воткнутой в старинный бронзовый подсвечник.

Дрожащее, трепетное пламя свечи играло на развешанном по стенам оружии, придавая странный блеск гладко полированной стали дедовских кинжалов, шашек, сабель и палашей. Между ними находилась и гусарская сабля отца Нади, отставного ротмистра, с которой он не разлучался за время своей прежней, походной жизни. Теперь эта сабля как почетное напоминание о былом висела на стене крошечной горницы. В ней больше не нуждались. Она отслужила свою службу и могла отдыхать после долгих трудов. На небольшом круглом столике у окна были разложены подарки, полученные сегодня утром от родных: чудесное сафьяновое седло с малиновым вальтрапом — подарок отца и тут же деревянная кубышка с 300-ми червонцев от него же; золотые часы — подарок маленького Васи, приобретенный им на собственные карманные деньги и до слез растрогавший Надю; серебряная кружка от Клеопатры и, наконец, длинная массивная золотая цепь, родовая цепь их семьи, возложенная на шею именинницы руками ее матери.

— Носи, Надя, эту фамильную вещь с уважением и вниманием к ней, — сказала при этом Марфа Тимофеевна, — и помни, что человек, которому она принадлежит, должен быть достойным нашего славного и честного рода.

Этот голос, эти слова еще до сих пор звучат в ушах Нади. Она словно чувствует прикосновение холодных золотых звеньев к своей обнаженной, по тогдашней моде, шее... Потом взгляд ее падает на белую, узенькую девичью постельку, на развешанное по стенам оружие, на всю скромную обстановку маленькой горницы, где она провела этот год по желанию отца, захотевшего иметь подле себя свою любимицу, обойденную материнской любовью. Сам Андрей Васильевич не жил в «большом доме»: его хлопотливая должность городничего требовала частых отлучек даже и в ночную пору, и, чтобы не тревожить своими поздними возвращениями семью, отставной ротмистр предпочел выбрать своим местожительством мезонин садового домика.

Надя, чувствующая себя связанной и стесненной под кровлей «большого дома», за этот год, проведенный в садовом домике, как-то разом воспрянула духом. Этому способствовала немало близость отца, которого она боготворила. И теперь, прислушиваясь к его твердым шагам в мезонине (он вернулся сегодня раньше обыкновенного), она с трепетом думала о том, что ей предстояло вынести, когда...

О, это «когда!...». Уж скорее бы оно совершилось, скорее бы прекратилось несносное ожидание того, что неизбежно.

И невольная дрожь при мысли об этом неизбежном охватывает все стройное тело девочки. Глаза ее наполнились непрошеными слезами... Вот-вот она рыдается сейчас горько, неудержимо...

И вдруг ее затуманенный взгляд упал на большую картину в золотой раме, висящую над ее кроватью.

На картине изображена девушка. На ней простая одежда деревенской пастуш-

ки. Вдоль спины спущены две толстые золотистые косы. Но лицо девушки так странно и необычайно. Оно как бы отмечено самим провидением. В выражении его что-то величественное, неземное, недоступное лицу простого смертного. И эта девушка не простая смертная. Она героиня. Ее имя занесено на страницы истории. Это — знаменитая пастушка, великий полководец французской земли. Это бессмертная Жанна д'Арк, победившая англичан и проложившая своим мечом дорогу к трону молодому дофину Франции. Она изображена здесь как раз в ту минуту, когда ей слышатся священные голоса, призывающие ее спасти родину. Оттого-то взор ее странно прекрасен и остр, как у ясновидящей... Оттого и бледное лицо ее полно необычайного упоения... Велика была судьба этой девушки, двигавшей французские полки одним взмахом своей слабой женской руки и сгоревшей на костре по жалкому навету невежественных дикарей.

И при виде этого дивного лица, этих странных глаз, слезы Нади иссыкли. Она уже не плачет больше. Ее темные глаза так и впились в картину, прикованные к бледному лицу знаменитой пастушки. А в ушах звенят знакомые, милые слова, сказанные сегодня: «Я люблю тебя за то, что ты такая смелая и отважная... не как другие!» О, милый, маленький, глупый Вася! Она-то смелая и отважная! Она — Надя!

Не оттого ли, что она на полном скаку заставляет своего Алкида брать препятствие? Или, не задумываясь, отправится в ночную пору на кладбище, где под белыми крестами мирным сном покоятся мертвецы? Но ведь это ребячья отвага, о которой стыдно говорить! А между тем, когда дело принимает серьезный оборот, когда надо пойти на нечто более крупное, важное, — у нее, Нади, словно опускаются руки, холодок пробегает по спине и все члены дрожат, как в лихорадке. Она испытывает страх, какой могут испытывать подобные ей, вполне обыкновенные создания...

Так нет же! Нет! Она не хочет быть такою, как все!..

Сколько раз ее отец выражал сожаление, что она родилась не мальчиком, могущим покрыть неувядаемой славой их старинный дворянский род. И он не знал тогда, дорогой, милый отец, что каждое его слово расплавленным оловом вливалось в ее пылкое сердечко и жгло своим нестерпимым горячим огнем.

— Да нет же, нет! — упорно и настойчиво срывается теперь с запекшихся губ Нади, и громадные глаза ее загораются мрачным огнем. — Прочь нерешительность, страх и женская слабость! Сама судьба предназначала мне иную долю. И я буду тем, чем она указывает мне стать. А ты, ты поможешь мне, — подняв снова взор на бедную пастушку с золотыми косами, добавляет она глухим шепотом, — ты поможешь мне своим примером... Ты должна мне помочь, Жанна!

## ГЛАВА III

*В последний раз. — Без возврата*

— Ты еще не спишь, дочурка?

И рослая, сильная фигура Андрея Васильевича Дурова неожиданно выросла на пороге.

Это был далеко еще не старый человек, но уже значительно тронутый сединами. Молодецкая осанка, длинные, с заметной проседью усы, коричневая, с золотыми шнурами венгерка — все это обличало в нем лихого кавалериста. Его